ОБЛАКО В ШТАНАХ

2-е ИЗДАНІЕ
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

В. МАЯКОВСКІЙ.

ОБЛАКО ВЪ ШТАНАХЪ.

ТЕТРАПТИХЪ.

ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

„Облако въ штанахъ“ (первое имя „Тринадцатый Апостолъ“ зачеркнуто цензурой. Не возстанавливаю. Свыкся.) считаю катехизисомъ сегодняшняго искусства.

„Долой вашу любовь“, „долой ваше искусство“, „долой вашъ строй“, „долой вашу религію“—четыре крика четырехъ частей.

Долгъ мой возстановить и обнародовать, эту искаженную и обезжаленную дореволюціонной цензурой книгу.

В. МАЯКОВСКІЙ.

ТЕБѢ ЛИЛЯ.

ПРОЛОГЪ.

Вашу мысль,
мечтающую на размягченномъ мозгу,
какъ выжирѣвшій лакей на засаленной кушеткѣ,
буду дразнить объ окровавленный сердца лоскутъ;
досыта изъиздѣваюсь, нахальный и ѣдкій.

У меня въ душѣ ни одного сѣдого волоса,
и старческой нѣжности нѣтъ въ ней!
Міръ огромивъ мощью голоса,
иду—красивый,
двадцатидвухлѣтній.

Нѣжные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложитъ грубый.
А себя, какъ я, вывернуть не можете,
чтобы были однѣ сплошныя губы!

Приходите учиться —
изъ гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги,

И которая губы спокойно перелистываетъ,
какъ кухарка страницы поваренной книги.

Хотите, —
буду отъ мяса бѣшенный,
— и, какъ небо, мѣняя тона —
хотите,
буду безукоризненно нѣжный,
не мужчина, а — облако въ штанахъ!

Не вѣрю, что есть цвѣточная Ницца!
Мною опять словословятся
мужчины залежанные, какъ больница,
и женщины истрепанныя, какъ пословица.

I.

Вы думаете, это бредитъ малярія?
Это было,
было въ Одессѣ.
„Приду въ четыре", — сказала Марія.
Восемь.
Девять.
Десять.

Вотъ и вечеръ
въ ночную жуть
ушелъ отъ оконъ
хмурый,
декабрый.
Въ дряхлую спину хохочутъ и ржутъ
канделябры.

Меня сейчасъ узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонетъ,
корчится.

Что можетъ хотѣться этакой глыбѣ?
А глыбѣ многое хочется!

Вѣдь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной желѣзкою.
Ночью хочется звонъ свой
спрятать въ мягкое,
въ женское.

И вотъ,
громадный,
горблюсь въ окнѣ,
плавлю лбомъ стекло окошечное.
Будетъ любовь или нѣтъ?
Какая —
большая или крошечная?

Откуда большая у тѣла такого:
Должно-быть, маленькій,
смирный любеночекъ.

Она шарахается автомобильныхъ гудковъ.
Любитъ звоночки коночекъ.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицомъ въ его лицо рябое,
жду,
обрызганный громомъ мiрового прибоя.

Полночь, съ ножомъ мечась,
догнала,
зарѣзала,—
вонъ его!

Упалъ двѣнадцатый часъ,
какъ съ плахи голова казненнаго.

Въ стеклахъ дождинки сѣрыя
свылись,
гримасу громадили,
какъ будто воютъ химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!

Что же и этого не хватитъ?
Скоро крикомъ издерется ротъ.

Слышу:
тихо,
какъ больной съ кровати,
спрыгнулъ нервъ.

И вотъ,—

сначала прошелся
едва-едва,
потомъ забѣгалъ,
взволнованный,
четкій.
Теперь и онъ, и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка въ нижнемъ этажѣ.

Нервы
большіе,
маленькіе,
многіе!
скачутъ бѣшенные,
и уже
у нервовъ подкашиваются ноги!

А ночь по комнатѣ тинится и тинится;
изъ тины не вытянуться отяжелѣвшему глазу.

Двери вдругъ заляскали,
будто у го́стиницы
не попадаетъ зубъ на зубъ.

Вошла ты
рѣзкая, какъ „нате“,
муча перчатки замшъ;
сказала:
„Знаете,—
я выхожу замужъ“.

Что жъ, выходите.
Ничего.
Покрѣплюсь.
Видите,—спокоенъ какъ!
Какъ пульсъ
покойника.

Помните?

Вы говорили
„Джекъ Лондонъ
деньги,
любовь,
страсть“.
а я одно видѣлъ:
вы—Джіоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду въ игры,
огнемъ озаряя бровей зàгибъ.

Что же!
И въ домѣ, который выгорѣлъ,
иногда живутъ бездомные бродяги!

Дразните?

„Меньше, чѣмъ у нищаго копѣекъ,
у васъ изумрудовъ безумій“.
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувій!

Эй!
Господа!
Любители
святотатствъ,
преступленій,
боенъ,—
а самое страшное

Видѣли,—
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоенъ?

И чувствую —
„я“
для меня мало.
Кто-то изъ меня вырывается упрямо.

Allo!
Кто говоритъ!
Мама?

Мама!

Вашъ сынъ прекрасно боленъ!
Мама!
У него пожаръ сердца.
Скажите сестрамъ, Людѣ и Олѣ,
ему уже некуда дѣться.

Каждое слово,
даже шутка,
которыя изрыгаетъ обгорающимъ ртомъ онъ,
выбрасывается, какъ голая проститутка
изъ горящаго публичнаго дома.

Люди нюхаютъ, —
запахло жареннымймъ!
Нагнали какихъ-то.
Блестящіе!
Въ каскахъ!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарнымъ:—
На сердце горящее лѣзутъ въ ласкахъ.

Я самъ.
Глаза наслезненные бочками выкачу.

Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!

Рухнули.
Не выскочишь изъ сердца!

На лицѣ обгорающемъ
изъ трещины губъ
обугленный поцѣлуишко броситься выросъ.
Мама!
Пѣть не могу.
У церковки сердца занимается клиросъ!

Обгорѣлыя фигурки словъ и чиселъ
изъ черепа,
какъ дѣти изъ горящаго зданія.
Такъ страхъ
схватиться за небо
высилъ
горящія руки Лузитаніи.

Трясущимся людямъ
въ квартирное тихо
стоглазое зарево рвется съ пристани.
Крикъ послѣдній,
ты хоть!
о томъ, что горю, въ столѣтія выстони!

II.

Славьте меня!
Я великимъ не чета.
Я надъ всѣмъ, что сдѣлано,
ставлю „nihil“.
Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думалъ,—
книги дѣлаются такъ:
пришелъ поэтъ,
легко разжалъ уста,
и сразу запѣлъ вдохновенный простакъ,—
пожалуйста!

А, оказывается:—
прежде чѣмъ начнетъ пѣться,
долго ходятъ, размозолѣвъ отъ броженія,

И тихо барахтается въ тинѣ сердца
глупая вобла воображенія.

Пока выкипячиваютъ, риѳмами пиликая,
изъ любвей и соловьевъ какое-то варево,
улица корчится безъязыкая,—
ей нечѣмъ кричать и разговаривать.

Городовъ вавилонскія башни,
Возгордясь, возносимъ снова;
а Богъ
города на пашни
рушитъ,
мѣшая слово.

Улица муку молча перла.
Крикъ торчкомъ стоялъ изъ глотки.

Топорщились, застрявшіе поперекъ горла,
пухлые taxi и костлявыя пролетки.

Грудь изпѣшеходили.
Чахотки площе.
Городъ дорогу мракомъ заперъ.
И когда —
все-таки! —
Выхаркнула давку на площадь,
спихнувъ наступившую на горло паперть.

думалось:

въ хорахъ архангелова хорала
Богъ, ограбленный, идетъ карать!
А улица присѣла и заорала:
„Идемте жрать!"

Гримируютъ городу Круппы и Круппики
грозящихъ бровей морщь,
а во рту
умершихъ словъ разлагаются трупики,

Только два живутъ, жирѣя,
„сволочь“
и еще какое-то,
кажется — „борщъ“.

Поэты,
размокшіе въ плачѣ и всхлипѣ,
бросились отъ улицы, ероша космы:
„Какъ двумя такими выпѣть
и барышню,
И любовь,
и цвѣточекъ подъ росами?“.

А за поэтами —
уличныя тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!

Вы не нищіе,
вы не смѣете просить подачки!

Намъ, здоровеннымъ,
съ шагомъ саженьимъ,
надо не слушать, а рвать ихъ,
ихъ
присосавшихся безплатнымъ приложеніемъ
къ каждой двуспальной кровати!

Ихъ ли смиренно просить:
„Помоги мнѣ!“
Молить о гимнѣ,
объ ораторіи!

Мы сами творцы въ горящемъ гимнѣ—
шумѣ фабрики и лабораторіи.

Что мнѣ до Фауста,
фееріей ракетъ
скользящаго съ Мефистофелемъ въ небесномъ
паркетѣ!

Я знаю —
гвоздь у меня въ сапогѣ
кошмарнѣй, чѣмъ фантазія Гете!

Я,
златоустѣйшій,
чье каждое слово
душу новородитъ,
именинитъ тѣло,
говорю вамъ:
мельчайшая пылинка живого
цѣннѣе всего, что я сдѣлаю и сдѣлалъ!

Слушайте!
Проповѣдуетъ,
мечась и стеня,
сегодняшняго дня крикогубый Заратустра!

Мы
съ лицомъ, какъ заспанная простыня,
съ губами обвисшими, какъ люстра,

Мы,
каторжане города лепрозорія,
гдѣ золото и грязь изъязвили проказу,—
мы чище венеціанскаго лазорья,
морями и солнцами омытаго сразу!

Плевать, что нѣтъ
у Гомеровъ и Овидіевъ
людей, какъ мы,
отъ копоти въ оспѣ.
Я знаю —
солнце померкло бъ, увидѣвъ
нашихъ душъ золотыя розсыпи!

Жилы и мускулы — молитвъ вѣрнѣй.
Намъ ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый
держимъ въ своей пятернѣ
міровъ приводные ремни!

Это взвело на Голгоѳы аудиторій
Петрограда, Москвы, Одессы, Кіева,
и не было ни одного,
который
не кричалъ бы:
„Распни,
распни его!“

Но мнѣ —
люди,
и тѣ, что обидѣли —
вы мнѣ всего дороже и ближе.
Видѣли,
какъ собака бьющую руку лижетъ?!

Я,
обсмѣянный у сегодняшняго племени,
какъ длинный,
скабрезный анекдотъ,

Вижу идущаго черезъ горы времени,
котораго не видитъ никто.

Гдѣ глазъ людей обрывается куцый
главой голодныхъ ордъ,
въ терновомъ вѣнцѣ революцій
грядетъ шестнадцатый годъ.

А я у васъ—его предтеча;
я—гдѣ боль, вездѣ;
на каждой каплѣ слезовой течи
распялъ себя на крестѣ.

Уже ничего простить нельзя.

Я выжегъ души, гдѣ нѣжность растили.
Это труднѣе, чѣмъ взять
тысячу тысячъ Бастилій!

И, когда,

Приходъ его
мятежомъ оглашая,
выйдете къ спасителю—
вамъ я
душу вытащу,
растопчу,
чтобъ большая?!
и окрававленную дамъ, какъ знамя.

III.

Ахъ зачѣмъ это,
откуда это
въ свѣтлое весело
грязныхъ кулачищъ замахъ!
Пришла,
голову отчаяніемъ занавѣсила
мысль о сумасшедшихъ домахъ.

И,—
какъ въ гибель дредноута
отъ душащихъ спазмъ
бросаются въ разинутый люкъ—
сквозь свой,
до крика разодранный, глазъ
лѣзъ, обезумѣвъ, Бурлюкъ.

Почти окровавивъ изслезенныя вѣки
вылѣзъ,
всталъ,
пошелъ,

И съ нѣжностью, неожиданной въ жирномъ
человѣкѣ,
взялъ и сказалъ:

„Хорошо!“

Хорошо, когда въ желтую кофту
душа отъ осмотровъ укутана!
Хорошо,
когда брошенный въ зубы эшафоту,
крикнуть—
„Пейте какао Ван-Гутена!“

И эту секунду
бенгальскую
громкую
я ни на что-бъ не вымѣнялъ,
я ни на . . . . .

Изъ сигарнаго дыма,
ликерною рюмкой,
вытягивалось пропитое лицо Сѣверянина.

Какъ вы смѣете называться поэтомъ
и, сѣренькій, чирикать какъ перепелъ!

Сегодня
надо
кастетомъ
кроиться міру въ черепѣ!

Вы,—
обезпокоенные мыслью одной—
„изящно пляшу ли“
смотрите, какъ развлекаюсь
я—
площадной
сутенеръ и карточный шулеръ!

Отъ васъ,
которые влюбленностью мокли,
отъ которыхъ
въ столѣтія слеза лилась,

уйду я,
солнце моноклемъ
вставлю въ широко растопыренный глазъ.

Невѣроятно себя нарядивъ,
пойду по землѣ,
чтобъ нравился и жегся,
а впереди,
на цѣпочкѣ, Наполеона поведу, какъ мопса.

Вся земля поляжетъ женщиной,
заерзаетъ мясами, хотя отдаться;
вещи оживутъ—
губы вещины
засюсюкаютъ:
„цаца, цаца, цаца!“

Вдругъ
и тучи,

и облачное прочее
подняло на небѣ невѣроятную качку,
какъ будто расходятся бѣлые рабочіе,
небу объявивъ озлобленную стачку.

Громъ изъ-за тучи, звѣрѣя, вылѣзъ,
громадныя ноздри задорно высморкалъ,
небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой желѣзнаго Бисмарка.

Кто-то,
запутавшись въ облачныхъ путахъ,
вытянулъ руки кафе,
будто по-женски,
нѣжный, какъ будто
и будто бы пушки лафетъ.

Вы думаете—
это солнце нѣжненько
треплетъ по щечкѣ кафе?

Это опять, разстрѣлять мятежниковъ,
грядетъ генералъ Галифе!

Выньте, гулящіе, руки изъ брюкъ—
берите камень, ножъ или бомбу,
а если у котораго нѣту рукъ—
пришелъ чтобъ и бился лбомъ бы!

Идите, голодненькіе,
потненькіе,
покорненькіе,
закисшіе въ блохастомъ грязненькѣ!
Идите!
Понедѣльники и вторники
окрасимъ кровью въ праздники!

Пускай земле подъ ножами припомнится,
кого хотѣла опошлить!
Землѣ,
обжирѣвшей, какъ любовница,
которую вылюбилъ Ротшильдъ!

Чтобъ флаги трепались въ горячкѣ пальбы,
какъ у каждаго порядочнаго праздника—
выше вздымайте фонарные столбы
окровавленныя туши лабазниковъ.

Изругивался,
вымаливался,
рѣзалъ,
лѣзъ за кѣмъ-то
вгрызаться въ бока.

На небѣ, красный, какъ марсельеза,
вздрыгивалъ, околѣвая, закатъ.

Уже сумасшествіе.

Ничего не будетъ.
Ночь придетъ,
перекуситъ
и съѣстъ.

Видите —
небо опять іудитъ
пригоршнью обрызганныхъ предательствомъ
звѣздъ?

Пришла.
Пируетъ Мамаемъ,
задомъ на городъ насѣвъ.
Эту ночь глазами не проломаемъ
черную, какъ Азефъ!

Ежусь, зашвырнувшись въ трактирные углы,
виномъ обливаю душу и скатерть
и вижу:
въ углу глаза круглы,
глазами въ сердца въѣлась Богоматерь

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сіяніемъ трактирную ораву!
видишь опять

Голгоѳнику оплеванному
предпочитаютъ Варавву?

Можетъ-быть, нарочно я
въ человѣчьемъ мѣсивѣ
лицомъ никого ни новѣй.

Я,
можетъ-быть,
самый красивый
изъ всѣхъ твоихъ сыновей.

Дай имъ,
заплѣснѣвшимъ въ радости,
скорой смерти времени,
чтобъ стали дѣти, должныя подрасти,
мальчики—отцы,
дѣвочки—забеременѣли.

Новымъ рожденнымъ дай обрасти
пытливой сѣдиной волхвовъ.

Придутъ они,—
будутъ дѣтей крестить
именами моихъ стиховъ.

Я, воспѣвающій машину и Англію,
можетъ-быть, просто,
въ самомъ обыкновенномъ евангеліи,
тринадцатый апостолъ.

И когда мой голосъ
похабно ухаетъ—
отъ часа къ часу,
цѣлыя сутки,
можетъ-быть, Іисусъ Христосъ нюхаетъ
моей души незабудки.

IV.

Марія! Марія! Марія!
Пусти Марія!
Я не могу на улицахъ!
Не хочешь?
Ждешь,
какъ щеки провалятся ямкою,
попробованный всѣми,
прѣсный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
„удивительно честный“.

Марія,
видишь—
я уже началъ сутулиться.

Въ улицахъ
люди жиръ продырявятъ въ четыреэтажныхъ
зобахъ,
высунутъ глазки,
потертые въ сорокгодовой таскѣ,—
перехихикиваться,
что у меня въ зубахъ
опять!
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдалъ тротуары,
лужами сжатый жуликъ,
мокрый, лижетъ улицъ забитый булыжникомъ
трупъ;
а на сѣдыхъ рѣсницахъ—
да!
на рѣсницахъ морозныхъ сосулекъ
слезы изъ глазъ—
да!
изъ опущенныхъ глазъ водосточныхъ трубъ.

Всѣхъ пѣшеходовъ морда дождя обсосала,
а въ экипажахъ лощился за жирнымъ атлетомъ
атлетъ;
лопались люди,
проѣвшись насквозь,—
сочилось сквозь трещины сало,
мутной рѣкой съ экипажей стекала,
вмѣстѣ съ изсосанной булкой,
жевотина старыхъ котлетъ.

Марія!
Какъ въ зажирѣвшее ухо втиснуть имъ тихое
слово?

Птица
побирается пѣсней,
поетъ,
голодна и звонка;
А я человѣкъ, Марія,
простой,

выхарканный чахоточной ночью въ грязную
руку Прѣсни.

Марія хочешь, такого?
Пусти, Марія!
Судорогой пальцевъ зажму я желѣзное горло
звонка!

Марія!
Звѣрѣютъ улицъ выгоны,
на шеѣ ссадиной пальцы давки.

Открой!
Больно!
Видишь — натыканы
въ глаза изъ дамскихъ шляпъ булавки!

Пустила.

Дѣтка!

Не бойся,
что у меня на шеѣ воловьей
потноживотныя женщины мокрой горою сидятъ,
это сквозь жизнь я тащу
милліоны огромныхъ чистыхъ любовей
и милліоны милліоновъ маленькихъ грязныхъ
любятъ.
Не бойся,
что снова,
въ измѣны ненастье,
прильну я къ тысячамъ хорошенькихъ лицъ, —
„любящія Маяковскаго“!
да вѣдь это жъ династія
на сердце сумасшедшаго восшедшихъ царицъ.

Марія, ближе!

Въ раздѣтомъ безстыдствѣ,
въ боящейся дрожи ли,
но дай твоихъ губъ неисцвѣтшую прелесть:

я съ сердцемъ ни разу до мая не дожили,
а въ прожитой жизни
лишь сотый апрѣль есть.

Марія!
поэтъ сонеты поетъ Тіанѣ,
а я,—
весь изъ мяса,
человѣкъ весь—
тѣло твое просто прошу,
какъ просятъ христіане
„хлѣбъ нашъ насущный
даждь намъ днесь"

Марія—дай!

Марія!
Имя твое я боюсь забыть,
какъ поэтъ боится забыть
какое-то

въ мукахъ ночей
рожденное слово,
величіемъ равное Богу
Тѣло твое
я буду беречь и любить,
какъ солдатъ,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережетъ свою единственную ногу.

Марія—
не хочешь?
Не хочешь!
Ха!

Значитъ—опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапавъ,

нести,
какъ собака,
которая въ конуру
несетъ
переѣханную поѣздомъ лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнетъ цвѣтами пыли кителя.

Тысячу разъ опляшетъ Иродіадой
солнце землю—
голову Крестителя

И когда
мое количество лѣтъ
выпляшетъ до конца—
милліономъ кровинокъ устелется слѣдъ
дому моего отца.

Вылѣзу
грязный (отъ ночевокъ въ канавахъ),
стану бокъ о бокъ,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:
Послушайте господинъ Богъ!

Какъ вамъ не скушно
въ облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобрѣвшіе глаза?

Давайте,—знаете—
устроимте карусель
на деревѣ изученія добра и зла!

Вездѣсущій ты будешь въ каждомъ шкапу
и вина такія разставимъ по столу,
чтобъ захотѣлось пройтись въ ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.

А въ раѣ опять посѣлимъ Евочекъ
прикажи,—
сегодня ночью жъ
со всѣхъ бульваровъ красивѣйшихъ дѣвочекъ
я натащу тебѣ.
Хочешь?

Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?
Супишь сѣдую бровь?
Ты думаешь
этотъ,
за тобою крыластый
знаетъ, что такое любовь?

Я тоже ангелъ, я былъ имъ—
сахарнымъ барашкомъ выглядывалъ въ глазъ,
но больше не хочу дарить кобыламъ
изъ севрской муки изваянныхъ вазъ.

Всемогущій ты выдумалъ пару рукъ,
сдѣлалъ,
чтобъ у каждаго есть голова,—
отчего ты не выдумалъ,
чтобъ было безъ мукъ
цѣловать, цѣловать, цѣловать?!

Я думалъ ты всесильный Божище,
А ты недоучка крохотный Божикъ.

Видишь, я нагибаюсь,
изъ-за голенища
достаю сапожный ножикъ.
Крыластые прохвосты!
жмитесь въ раю.
Ероште перышки въ испуганной тряскѣ
Я тебя пропахшаго ладаномъ раскраю

отсюда до Аляски.

Пустите!

Меня не остановите.
Вру я,
въ правѣ ли,
но я не могу быть спокойнѣй.
Смотрите—
звѣзды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спитъ,
положивъ на лапу
съ клещами звѣздъ огромное ухо.

Книги В. Маяковскаго.

„Я“ стихи литограф. 50 к. распр.

„Владиміръ Маяковскій“ трагедія 1 р. распр.

„Облако въ штанахъ“ 1 изд. 1 р. распр.

„Флейта позвоночника“ 50 к. распр.

„Простое какъ мычаніе“ сборн. 1 р. 50 к.

„Война и міръ“ 2 р. 25 к.

„Облако въ штанахъ“ 2 изд. 2 р.

„Человѣкъ“ вещь 2 р.

„Кофта фатà“ сатира готов. къ печ.

2 р.

изд.

АСИС.